

О Т З Ы В

официального оппонента о диссертации Дударевой Марианны Андреевны «Танатология в русской литературе XIX-начала XX века: от фольклорных истоков к индивидуальному осмыслению», представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 5.9.1. «Русская литература и литературы народов Российской Федерации»

Диссертационная работа М. А. Дударевой представляет нашему вниманию опыт сложного многоуровневого исследования проблемы, актуальность которой была и будет неизменной до тех пор, пока на земле существует жизнь. С древнейших времен тайна ухода за грань бытия не переставала тревожить человека. Но никакие объяснительные концепции, духовные либо оккультные практики, магические ритуалы и научные теории по сей день не дали внятного ответа на вопрос о том, что есть смерть в ее отношении к посюстороннему. Казалось бы, подобная ситуация заранее обрекает любое исследование на неудачу. Ведь даже великий мыслитель Ибн Сино, скромно сообщавший о том, что от глубин преисподней до дальних планет мироздания загадкам нашел он ответ, был вынужден признать, что так и не смог распутать «узел смерти».

К радости оппонента, соискательница не стала покушаться на раскрытие фундаментальных законов мироздания, сосредоточив внимание на фольклорном танатосе, что позволило ей четко обосновать актуальность *своего* научного интереса современными исканиями в области «новой генеалогии русской литературы», определив затем основную цель исследования, а именно: «Выявить через отношение писателей к народному творчеству их отношение к корневым вопросам бытия (жизни и смерти)», и «показать трансформации и преломления фольклорной традиции в индивидуальном творчестве» (с. 12–13).

Не менее точно показаны объект диссертационного сочинения («художественная танатология А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, И. А. Бунина, С. А. Есенина и В. В. Маяковского»), а также его предмет («типы фольклоризма в поэтике А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, И. А. Бунина, С. А. Есенина и В. В. Маяковского» и «взаимосвязь фольклорной традиции в их поэтике с образами смерти») (с. 13). Правда, не совсем понятно, к чему было дублировать цель исследования через пару страниц, но это претензия, безусловно, относится к стилю, а не к логике исследования. Помимо перечисленных, во вводной части работы представлены и другие обязательные элементы вплоть до аннотированной структуры диссертации, содержательная часть которой разбита соискательницей на 6 глав, находящихся в очевидной логической связи с системой задач и гипотезой исследования.

Последняя, к слову сказать, вызывает определенные сомнения. М. А. Дударева пишет, что, по ее предположению, «танатологическая парадигма русской литературы в лице А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, И. А. Бунина, С. А. Есенина и В. В. Маяковского связана на глубинном архетипическом уровне

с мировой фольклорной традицией, славянской, кабардино-черкесской, грузинской, персидской, дожанровыми образованиями, обрядом, ритуалом и мифом» (с. 18). С одной стороны, трудно оспаривать предложенный соискательницей перечень истоков. С другой стороны, получается, что «танатологическая парадигма русской литературы» связана со всем предшествующим фольклорным, мифологическим, религиозным и — в целом — культурным наследием. Но к чему тогда детализация? Тем более что, скажем, персидская фольклорная (так следует из предложенной гипотезы) традиция внезапно оборачивается упоминанием о культе хаомы, а это все-таки сначала «Ригведа» и лишь потом «Авеста». Суфийская же образность, о которой упоминается на с. 236, несводима к некому единому толкованию, поэтому краткая апелляция к Низами Гянджеви, Хафизу Шерози и Джеллаладдину Руми, на мой взгляд, требует расширения.

Переходя к анализу содержательной части диссертации, хотелось бы отметить оригинальное композиционное решение, найденное соискательницей. Каждая глава предваряется «вводными замечаниями», своеобразными пролегоменами, определяющими направление дальнейшего рассуждения.

Итак, собственно исследование начинается с главы, посвященной пушкинскому наследию. М. А. Дударева, обращаясь к вопросу о «трансформации фольклорной традиции в поэтике А. С. Пушкина», акцентирует наше внимание на месте и роли мортальных образов. В развернутых размышлениях об эйдологии «иноного царства» («Руслан и Людмила»), ритуальном орнаменте «Сказки о царе Салтане», мотиве «чудесного зачатия / рождения» («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»), а также фольклорной традиции и дожанровых образованиях в «Сказке о золотом петушке», соискательница демонстрирует широкий научный кругозор, умение держаться избранной линии исследования, корректное применение различных методологических подходов.

Соответственно, и выводы, завершающие главу, возражений не вызывают, в том числе и тот, согласно которому фольклоризм Пушкина «в сказочном пространстве его произведений связан в первую очередь с мифологемой пути, системой инициаций героев»; «он носит эксплицитный характер», поэтому «можно говорить об ориентации художника слова на иномирную эстетику русской волшебной сказки. Однако лиминальные состояния героев, которым уготован ряд испытаний в ходе путешествия на “тот свет”, генетически сопряжены с несказочной прозой, с “обмираниями”, с одной стороны, ориентированными на достоверность <...>, с другой стороны, связанными с метафизическим мифологическим ощущением жизни, художественным переживанием бинарной оппозиции «жизнь — смерть»» (с. 79).

Идущая далее глава, посвященная «фольклорной традиции в прозе М. Ю. Лермонтова», повествует о лиминальных героях в романах «Вадим» и «Герой нашего времени». В сущности, здесь представлена во многом удачная попытка вывести лермонтовскую образность из плена романтической идеи. Другое дело,

что романтическая идея по причине своей глубинной связи с народным началом активно сопротивляется и далеко не всегда соглашается уступить место неким архетипическим структурам (с. 118). В то же время нельзя не согласиться с выводами о том, что в романе «Вадим» поведение лиминального героя «семиотически отсылает к традициям русского юродства и скоморошества», характеризующимся «состоянием ритуального хаоса», образ Ольги *типологически* восходит «к архетипу девы-воительницы / спасительницы», а «моральная образность <...> проявляется в разных типах локусов, метафизике “края”»: «Краевой, пороговый образ мысли, тяготение Печорина к домам в конце улицы, к хатке на краю деревни и т. д. обуславливает его двойничество, постоянный напряженный диалог со вторым своим человеком, что уподобляется состоянию античного мифологического агона, то есть космической борьбы» (с. 121).

Далее мы сталкиваемся с хронологическим скачком, поскольку соискательница сразу переносит нас в период безвременья, одним из наиболее ярких представителей которого был автор веселых комедий о судьбах драматургов, актрис и вишневых садов. На страницах, связанных с погребальным обрядом в поэтике позднего А. П. Чехова, анализируется, на мой взгляд, парадоксальная связь фольклорного кода повести «Степь» и эстетических исканий Серебряного века. Однако я не буду вступать в полемику, поскольку парадоксализм здесь обусловлен принятым большинством литературоведов расширительным пониманием границ явления, известного также под именем русского духовного Ренессанса. Более того, мне хотелось бы отметить, высокий уровень владения сложным, противоречивым и далеко не всегда поддающимся истолкованию материалом. Второй и третий разделы главы дают образцы добротного, вдумчивого осмысления чеховского текста. На материале повести «В овраге», рассказов «Ванька» и «Невеста» М. А. Дударева раскрывает художественное своеобразие чеховских образов смерти и представляет убедительное описание «оборотности мира». Поэтому мы не можем не согласиться с тезисами о том, что чеховский фольклоризм «проявляется на архетипическом уровне», что «фольклорная традиция в лаборатории писателя приобретает разные формы, выражается как эксплицитно (прямое обращение к праздничной свадебной и погребальной обрядности годового цикла в повестях “Степь”, “В овраге”), так и имплицитно (мифологема пути, эйдология поиска “иного царства”, танатологический мотив поглощения, <...> зооморфность многих образов, отсылающая к низшей демонологии)», и что «подобное органическое сознательное погружение в древний славянский мир будет осуществлять в своей художественной практике С. А. Есенин, в поэтике которого, как ни парадоксально для общих жизнетворческих установок представителей Серебряного века, много отсылок к чеховским образам (<...> “Черный человек”))» (с. 173).

Любопытно, но «чеховская» глава оказывается своеобразным порогом, за которым диссертант обнаруживает выход к творчеству И. А. Бунина. художе-

ственная танатология автора рассматривается в широком временном промежутке: от ранних рассказов до «Жизни Арсеньева». Мортальные образы здесь соседствуют с календарным пограничьем и танатологическими формулами. М. А. Дударева справедливо подчеркивает, что «бунинский фольклоризм носит особый характер, как и чеховский, он приобретает латентный вид и выражен часто в знаках несловесной убедительности, ориентирован на эйдологию русской волшебной сказки, фольклорной и авторской, пушкинской». Что касается поздней прозы, то здесь особую роль играют «пространственные модели, особенно замкнутые типы локуса (чердаки, тесные затхлые комнаты, номера гостиниц, вагоны), в которых пребывает Арсеньев», ибо они «потенциально связаны с “тем светом”», но «героя влекут такие места», и «он через внутренний аскетизм и танатологические образы апофатически постигает неведомое и чудесное» (с. 221). Интересно, что именно «тот свет» или «иное царство» выступает своеобразным логическим мостком, ведущим читателя в мир есенинской поэтики.

Пятая глава диссертации — «Эйдология “иного царства” в поэтике С. А. Есенина: трансформация фольклорной традиции» — знакомит нас с опытом замыкания предшествующих линий исследования с текстами автора, чье творчество традиционно связывается с новокрестьянской поэзией, но при этом, как мне представляется, нередко (особенно на позднем этапе) вступает в жесточайшее противоречие с концептуальными положениями отца-основателя — Николая Клюева. М. А. Дударева убедительно показывает особенности топикс смерти в художественном мире раннего Есенина, поэтому мне остается только согласиться с выводом о том, что в есенинской поэтике «тема смерти и боли непосредственно связана с обращением поэта к архаическим представлениям о мире; она раскрывается в устойчивых фольклорных формулах, сопряженных с пограничным состоянием, поиском и топосами “того света”» (с. 258-259). Разбор «Пугачева» и «Черного человека» не столь однозначен. Но эта неоднозначность обусловлена безусловным доверием соискательницы к гению поэта, который, увы, оказался не самым сильным теоретиком. Я не спорю, что «Ключи Марии» можно воспринимать как трактат (религиозный, философский и даже теоретико-литературный), но опираться на него при анализе текста, на мой взгляд, не совсем рационально.

Есенинские рассуждения об образах, мягко сказать, наивны; религиозно-мифологическая составляющая слишком напоминает построения Клюева, а философия не есть попытка философствования (да еще и в пику «Жезлу Аарона»). С другой стороны, соискатель волен в выборе методологии, тем более что анализ самого «Пугачева» проделан на очень высоком уровне и нейтрализует указанный «провис». Добавлю, что ту же самую картину мы наблюдаем и при разборе лиминальных состояний в «Черном человеке».

Заключительная глава диссертации звучит в унисон с предшествующей. Признаюсь, выбор в качестве главного героя «агитатора, горлана, главаря» поначалу несколько удивил. Искать в творениях истового будетлянина, а позднее не

менее истового псалмопевца большевизма что-то подлинно танатологическое?.. Конечно же, суицидальные наклонности «крикогубого Заратустры», как и его не совсем нормальное, если не сказать — почти патологическое, «я люблю смотреть, как умирают дети», ни для кого не секрет. Но при чем же здесь фольклорное начало?.. Кроме того, нельзя не учитывать, что изначальный поиск народных корней в поэзии нигилиста-кубофутуриста (как не крути, а не изменишь) все-таки являл собой откровенное исполнение социального заказа.

Однако М. А. Дударевой удалось избежать многочисленных подводных камней, ожидающих литературоведа в текстах Маяковского. Поэтому в целом следует признать обоснованность и корректность вывода о танатологизме мышления поэта, что проявляется как в ранних, так и поздних текстах. Несомненно, важно и то, что М. А. Дударева связывает данный танатологизм с антропокосмическими исканиями Маяковского, берущими начало не только в космоургических устремлениях эпохи, но также в русском и грузинском фольклоре (с. 317).

Таким образом, основная часть работы может быть оценена достаточно высоко. Заключение в краткой и корректной форме подводит итоги, которые в целом подтверждают предложенную соискательницей гипотезу и обозначают возможные перспективы в разработке темы. Казалось бы, мне осталось указать, что: 1) апробация базовых положений диссертации проходила с 2015 по 2023 гг. на конференциях по большей части международного уровня; 2) публикации основных результатов представлены 51 статьей в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК РФ; 5 статьями в рецензируемых журналах, входящих в перечень Scopus / WOS, и 4 монографиях, — и можно переходить к резюмирующей части. Но, на мой взгляд, необходимо сделать несколько замечаний в дополнение к тем, что звучали в основной части отзыва.

Как нетрудно заметить, основной целью предшествующей критики было более четкое обозначение позиции оппонента и создание контрастного фона для несомненных достоинств диссертации. Сейчас же я предлагаю М. А. Дударевой материал для дискуссии и защиты своих воззрений.

Прежде всего хотелось бы отметить, что соискательница весьма тщательно подошла к формированию методологической базы (см. с. 17–18 и вводные замечания к главам). Но, пытаясь объять необъятное, неплохо бы: 1) помнить о завете Козьмы Пруtkова и 2) отказаться от безоговорочной веры в авторитеты. На Пруtkове останавливаться не буду, а вот вторую позицию постараюсь раскрыть.

М. А. Дударева прекрасно понимает невозможность какой-либо единой или даже усредненной методологии для анализа избранного материала. По этой причине она скрупулезно подбирает инструмент для каждого конкретного случая. Так, размышляя о романе «Вадим», соискательница пишет: «Лермонтов выступает в роли *визионера*, представляющего не просто людей, а их *имaginationи*, — фигуры Вадима и Ольги принадлежат вечному, их лица несут в себе не человеческое, а больше архетипическое. Под имажинативным понимаем здесь, вслед за

философом Я. Э. Голосовкером, выход в метафизическое, набор национальных констант, кодов, передающихся от одного поколения другому (духообраз). Имагинативное видение — это духовидение, направленное не только “по горизонтали”, но и “по вертикали”» (с. 86). И тут возникает вопрос, насколько оправданно в данном случае обращение к наследию Голосовкера? Да, предлагаемые мыслителем тезисы привлекательны: «В сюжете любого мифа можно найти напластования мифов различных эпох и племен, отзвуки различных религиозных и моральных воззрений, исторических событий, отголоски родового и племенного строя, пестрые остатки культов, контаминации сюжетных мотивов и даже целых мифов, героических сказаний и сказок. Словом, сюжет мифа — это самый сложный конгломерат во всех разрезах его сюжетного тела.

Я даю логику образа не как единого индивидуального образа, а как всей последовательной совокупности индивидуальных образов одного логического смысла. Можно рискнуть в данном случае термином “смыслообраз”. Сперва образ всегда конкретный предмет, затем он становится символом. Например, “*виденье*” как смысл сперва определяется конкретно “глазом”. Затем “глаз” становится символическим “внутренним зрением”, и одновременно физическая “слепота” переходит в “слепоту духовную”» (Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987. С. 48). Но обратите внимание, что Голосовкер оперирует античным наследием, апеллирует исключительно к мифу, играет термином «смыслообраз», но ни словом не упоминает о духовидении. Подобно многим своим современникам, он пытается совместить несовместимое, вытесняя привычное и понятное слово «воображение» некой «имагинацией». Соискательница идет дальше и, внедряя в рассуждение «духообраз», вдруг возводит героев на уровень существ неразрывно связанных с архетипическим и чуть ли не *первообразным*. Но так ли это?..

Следующий вопрос относится к положениям, выносимым на защиту. Первое из них гласит: «Продуктивность сравнительного подхода разных художественных миров авторов порубежья видится в следующем: научная традиция не знает прецедентов сопоставления заявленных авторов в аспекте художественной танатологии и ее связей с фольклорной эстетикой. Данное сопоставление позволит углубить и расширить представления о взаимодействии фольклора и литературы, раскрыть особенности отношения разных писателей к сакраментальным вопросам бытия, выявить модификации темы смерти в поэтике авторов XIX и начала XX века» (с. 19). Мне представляется, что продуктивность сравнительного подхода все-таки определяется выбором материала и строгим следованием закону достаточного основания. В противном случае есть опасность впасть в «грех» некорректного истолкования и усмотреть в морском вояже царицы и Гвидона прямую связь с историей Ионы.

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что второе положение практически не требует защиты. Вряд ли у кого возникнут сомнения в том, что

«в русском [замечу, не только в русском — С. С] фольклоре, в том числе дожанровых его формах, особым аксиологическим и онтологическим статусом обладает бинарная оппозиция “живое — мертвое”, которая является фундаментальной и устойчивой для художественной словесности» (с. 19).

И, наконец, седьмое положение, согласно которому «репрезентация и функционирование мифологических элементов, паремиологических формул и форм обрядовой погребальной и свадебной реальности в творчестве двух представителей Серебряного века, С. А. Есенина и В. В. Маяковского, как различны, так и схожи: в композиции, в структуре и семантике художественного символа» (с. 20), на мой взгляд, требует комментария и конкретизации в процессе защиты.

Переходя от критики избранных мест к оценке всей диссертации, считаю важным отметить, что к одному из достоинств исследования следует отнести научную смелость соискательницы, которая не боится отрабатывать каждую линию до конца, пусть даже она и оказывается тупиковой. Не секрет, что в литературоведении иной отрицательный результат стоит десятка положительных.

Научная новизна научного труда М. А. Дударевой для меня очевидна. Отстраняясь от своих терминологических пристрастий, я признаю обоснованность и оправданность заявленного исследовательницей перехода от образов смерти в русской литературе к эйдологии смерти и топике «иног царства». Выявление в художественном тексте фольклорных формул, несущих в себе танатологическую идею, лишний раз подтверждает искомую новизну. В том же ряду стоят результаты анализа «идейной, композиционной, сюжетообразующей роли танатологического мотивного комплекса <...> в поэтике разных авторов, представляющих романтизм, реализм и модернизм» (с. 16).

Теоретическая значимость работы заключается в возможности применить ее результаты в комплексных исследованиях русской литературы, в том числе и тех, что предполагают герменевтическое истолкование текста. Практическая значимость диссертационного сочинения обосновывается возможностью использования в преподавании базовых курсов по истории русской литературы, а также в преподавании курсов по выбору для студентов гуманитарных специальностей.

Достоверность основных выводов обеспечивается избранной методологией и высоким уровнем профессиональной подготовки соискательницы. Автореферат полно и корректно отражает содержание исследования.

Подводя итоги, можно уверенно сказать, что диссертационная работа М. А. Дударевой — это цельное, самостоятельное и полностью завершенное сочинение научно-квалификационного характера. Диссертация соответствует паспорту специальности 5.9.1. «Русская литература и литературы народов Российской Федерации» по следующим пунктам: п. 3 — «История русской литературы XIX века (1800–1890-е годы)»; п. 4 — «История русской литературы XX века (1890–1920-е годы)»; п. 11 — «Творческая лаборатория писателя, индивидуально-психологические особенности личности и ее преломлений в художественном творчестве»;

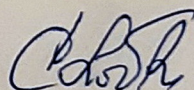
п. 12 — «Индивидуально-писательское и типологическое выражение жанрово-стилевых особенностей в их историческом развитии»; п. 21 — «Методология изучения историко-литературного процесса»; п. 24 — «Взаимодействие русской и мировой литературы, древней и новой».

Результаты работы, которая содержит в себе решение задач, имеющих принципиальное значения для литературоведения, вне всякого сомнения, являются ценными.

На основании сказанного можно заключить, что диссертация Марианны Андреевны Дударевой «Танатология в русской литературе XIX-начала XX века: от фольклорных истоков к индивидуальному осмыслению» отвечает требованиям пп. 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней» (Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), и ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора филологических наук по специальности 5.9.1. «Русская литература и литературы народов Российской Федерации».

29 февраля 2024 г.

Доктор филологических наук (специальность 10.01.02 — литература народов РФ), доктор философских наук (специальность 09.00.03 — история философии), профессор; Заслуженный деятель науки РФ; заведующий кафедрой журналистики и литературного образования филологического факультета ГАОУ ВО Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина»; 196605 Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д.10 лит. А; тел.:(812) 466-65-58 (приемная ректора), 8 (812) 451-98-42 (деканат); pushkin@lengu.ru, filolog.dekanat@lengu.ru; URL: <http://lengu.ru/>



Слободнюк Сергей
Леонович

Подпись *Слободнюка С. Л.*
Ученый секретарь ЛГУ им. А.С. Пушкина
29.02.2024 года

